



ПУШКИН

Мария Баганова

Любовь без надежд и требований
трогает сердце женское вернее
всех расчетов обольщения



Я только завидую тем мужам, у которых
супруги не красавицы, не ангелы,
преlestи, не мадонны etc, etc
Знаешь русскую песню: «Не дай бог
хорошей жены, хорошую жену частенько
на пир зовут»

Чем меньше женщину мы любим
Тем легче нравимся мы ей



Мария Баганова
Пушкин. Тайные страсти сукина сына

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11645568

Александр Пушкин. Тайные страсти сукина сына / Мария Баганова.: АСТ; Москва; 2015

ISBN 978-5-17-094514-6, 978-5-17-093201-6

Аннотация

Действие романа начинается в 1929 году, когда в руки скромного сельского врача попадает старинная рукопись, посвященная великому поэту. Содержание ее оказывается настолько шокирующим, что ученые не рискуют опубликовать ее. Россия пушкинской поры предстает в ней во всех деталях, весьма неприглядных, а сам великий поэт и его поведение шокирует советских ученых своим поведением, порой весьма экстравагантным. Блестящий роман-исследование Марии Багановой полностью основан на исторических документах.

Содержание

Предисловие	4
Глава 1	6
Глава 2	19
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Мария Баганова

Александр Пушкин. Тайные страсти сукина сына

Предисловие

Письмо в Русское евриеническое общество¹

Март. 1929 года.

Уважаемые коллеги!

С большим волнением пишу вам как постоянный подписчик и читатель издаваемого вашим Обществом альманаха «Клинический архив гениальности и одаренности». Я, скромный сельский врач, работающий в N*ской районной больнице, всегда интересовался освещаемыми в сборнике проблемами происхождения одаренности, таланта, гениальности и связи этих замечательных проявлений человеческого духа с теми или иными душевными недугами, которые еще не полностью побеждены в нашей новом строящемся социалистическом обществе. Я постоянно слежу за патографической² литературой в СССР и на Западе и не мог не отметить, что тогда как в буржуазных странах, и особенно в Германии, творчество и биографии величайших мастеров слова подробно исследованы с этой точки зрения, то в нашей стране в этом отношении сделано очень и очень мало. А один из величайших мастеров слова – Александр Сергеевич Пушкин до сих пор патографически совершенно не освещен. Давно уже пора к этому приступить.

Волей обстоятельств достался мне старинный архив моего двоюродного прадеда, так же как и я, врача. Предок мой, Иван Тимофеевич Спасский, – доктор медицины, профессор Медико-хирургической академии по кафедре зоологии и минералогии. По воспоминаниям его слушателей, он был маленького роста, некрасивый внешне, кривой на один глаз. Запомнились студентам его лекции, которые он читал, стоя на возвышении кафедры, размахивая руками, подпрыгивая и брызгая слюной во все стороны. Зато как читал! В аудитории яблоку негде было упасть, студенты за час занимали места. Спасский пользовался большой любовью своих учеников, был он человеком прогрессивным и мыслящим: когда возник вопрос о допущении женщин к второстепенной медицинской деятельности, он высказался за положительное разрешение этого вопроса. По отзывам своих современников, он был одним из весьма дельных представителей медицины того времени, одним из лучших русских профессоров, у которого студенты многому научились.

Законодательство царской России включало преподавателей университетов в общую систему чиновной иерархии. Доктор медицины получал чин V класса. Приобретение учености открывало для тех, кто не имел дворянского звания, путь к нему, таким образом предок мой получил личное дворянство. В наши дни забавно читать о том, как мой предок стесняется своего простого происхождения и раболепствует перед князьями и баронами. Но как ни пошло это звучит в наше время, тогда именно чин и происхождение характеризовали социальную значимость человека.

Мой предок жил и работал в то время, когда отечественная психиатрия пребывала еще в состоянии диком и почти первобытном. Душевнобольных людей сажали на цепь, били,

¹ Научное общество, существовавшее в 1920–1929 годах, ставившее своей целью изучение вопросов наследственности человека, в том числе вопрос происхождения гениальности и одаренности.

² Патография – критика литературных произведений с точки зрения исследования психики их автора.

подвергали различным издевательствам. Однако и в жестокой николаевской России находились врачи, опередившие свое время, которые предпочитали лечить больных, предоставляя им возможность созидательно трудиться, обеспечивая нормальные жизненные условия. Безусловно, в условиях царизма это было невероятно сложно! В своих бумагах мой прадед говорит о своем интересе к зарождающейся психиатрии и упоминает имена врачей, стоявших у ее истоков. Сотрудничая с ними, имея обширную практику, он интересовался не только физическими, но и душевными расстройствами своих пациентов, хотя чаще всего моему прадеду приходилось лечить истерию – постыдную болезнь великосветских дам, происшедшую от праздности и лени. Знакомство с великим русским поэтом А. С. Пушкиным стало для моего прадеда событием величайшей важности. После женитьбы Пушкина Спасский как специалист-акушер был домашним врачом его семьи. Из опубликованных писем поэта следует, что отношение его к Спасскому было самым добрым, и Пушкин порой даже обедал в гостях у моего предка. А кроме того, Иван Тимофеевич последовательно собирал разнообразные факты и рассказы о Пушкине, желая постичь природу его таланта. Был Спасский знаком с докторами Арендтом и Далем, а также встречался со многими людьми из окружения великого поэта. После смертельного ранения Пушкина Иван Тимофеевич почти неотлучно находился у его постели и поэт оставил ему на память свою трость с серебряным набалдашником.

Доктор Спасский продуктивно работал еще около двадцати лет после гибели Пушкина, но потом сам заболел душевным расстройством, а через год скончался. Увы, такой конец был нередок среди прогрессивно настроенных людей в эпоху царской реакции.

Иван Тимофеевич Спасский оставил записки, в которых пытался проанализировать личность великого русского поэта. К сожалению, у записок моего прадеда отсутствует окончание, и поэтому нам неизвестно, какие выводы он сделал. Кроме того, полученное моим прадедом воспитание (он был сыном священника, служителя культа) обуславливало известную ограниченность его взглядов. Еще одной причиной, по которой доктор Спасский не мог сделать объективный анализ личности поэта, является, как я уже говорил, неразвитость психиатрической науки того времени. Сейчас, опираясь на достижения советской медицины и науки, я дал себе смелость закончить труд моего предка, проанализировав и обобщив его записи. Результат этой своей работы я выношу на ваш суд.

Глава 1

Случилось это примерно году в 42-м. Пришлось мне задержаться в станционной гостинице примерно в тех местах, где годами ранее путешествовал великий наш поэт Пушкин, собирая материалы для своей «Истории Пугачевского бунта».

Его превосходительство барон Модест Андреевич Корф, управлявший делами Кабинета Министров и недавно назначенный государственным секретарем, стоял неизмеримо выше меня по общественному положению, несмотря на то что к тому времени я был уже в чине статского советника и получил диплом на дворянское достоинство, и в других обстоятельствах я вряд ли мог рассчитывать на откровенность с его стороны. Хотя нельзя сказать, чтобы мы были совсем незнакомы: несколько раз барон посещал Медико-хирургическую академию и ваш покорный слуга даже представлял ему доклады о положении дел в нашем учебном заведении и рекомендовал молодые таланты. Я был много наслышан о бароне Корфе как о человеке в высшей степени умном, деловитом, скромном, богобоязненном и обладающем всеми достоинствами государственного мужа. И вот, услышав, что барон, захворав в пути, находится неподалеку в доме местного помещика, я не замедлил явиться в усадьбу Василия Васильевича О., где остановился барон, и предложил свои услуги. Тем более что, наведя справки, я выяснил, что лекарь здешний поклоняется более Бахусу нежели Эскулапу и потому вряд ли способен оказать больному квалифицированную помощь. Приняли меня радушно. Добродушный Василий Васильевич был несказанно рад появлению столичного доктора, профессора и почти сразу же проводил меня к высокопоставленному больному.

Представившись, я внимательнейшим образом осмотрел пациента и определил его болезнь как неопасную, усилившуюся только из-за неправильного лечения. Сделав назначения, я задержался, желая удостовериться, что все будет исполнено правильно.

Привыкший к столичной жизни и активной деятельности барон страдал не только от недуга физического, но и от унылой деревенской скуки. Василий Васильевич изо всех сил желал угодить своему гостю, но сам он был человеком простым и недалеким и вряд ли мог развлечь беседой умного и искушенного в жизни столичного чиновника. В этом смысле у барона Корфа было более общего со мной, человеком простого происхождения, но петербургским жителем, нежели с провинциальным столбовым дворянином.

Василий Васильевич развлекал барона анекдотами из деревенской жизни, со смехом передавая подробности местных судебных дел и сплетен о своих соседях. Он рассказывал о помещиках Н., муже и жене, которые были очень скупы; они жили в доме на двух половинах. Вечером общая приемная комната их никогда не была освещена. Когда докладывали им о приезде кого-нибудь, он или она, смотря по приезжему, то есть его ли это гость или ее, выходил или выходила из внутренней комнаты со свечою в руке. Когда же гость мог быть обоюдный, то муж и жена, являясь в противоположных дверях и завидя друг друга, спешили задуть свечу свою, так что гость оставался в совершенных потьмах.

Самой смешной и замысловатой была, пожалуй, тяжба о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол.

— Отец этого предполагаемого Василия пишет в своем прошении, что лет пятнадцать тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник, быв под хмельком, окрестил девочку Васильем и так внес в метрику. Обстоятельство это, по-видимому, мало беспокоило мужика, но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрутская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому. Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил десятилетнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное

освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой. Тут уж как-то завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирал плотских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы, и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола.

Василий Васильевич сам от души хохотал над подобными делами, но барону эти рассказы порядком наскучили.

Теперь барон узнал меня и даже вспомнил некоторые детали из моих ему представлений. Он принялся расспрашивать меня о студентах, о лекциях, о поветриях, углубляясь даже в детали столь специальные, что я только дивился глубине его познаний.

Оказалось, что знаком он и с моим коллегой доктором Шольцем, служившим в Воспитательном доме, коего он принялся ругать из-за недавно имевшего место поветрия, унесшего жизни многих воспитанников. Зачитал он мне и жалобу, теми воспитанниками сочиненную: «Главная надзирательница бьет нас беспощадно при дворниках, нагих девиц, некоторые от ее тиранства с ума сходили и с заходных труб бросались. Всегда с ругательством нам упрекают, что мы непотребного рода».

Я как мог защищал своего коллегу, повествуя о трудностях его каждодневной службы, и, надеюсь, смягчил сурового барона.

– Злые матери приносят несчастных младенцев в таком жалком виде, что помирают те в первые же часы, и не всегда даже успевают их осмотреть доктора, – объяснял я. – Приносят младенцев и только что рожденных, и не всегда возможно найти для них кормилиц, а если в более позднем – то часто в таком истощенном виде, что уж лучше бы сразу....

Постепенно барон смягчился и заговорил о других предметах. Неожиданно он этак сощурил глаза и спросил:

– Это ведь Шольц и вы – те самые доктора, что осматривали нашего умирающего поэта Пушкина?

Я не замедлил признаться, что имел честь исполнить сию печальную обязанность. Но к сожалению, сделать было ничего нельзя: рана была весьма тяжела. Я добавил, что и ранее неоднократно встречался с Александром Сергеевичем: лечил его покойную мать... Потом, осмелев, я добавил, что знаком близко в Францем Осиповичем Пешелем, лекарем в Царско-сельском лицее.

– Вы ведь учились вместе с Пушкиным, ваше превосходительство, – произнес я, скорее с утвердительной, а не вопросительной интонацией.

Барон подтвердил, улыбнулся, вспомнив доктора Пешеля:

– Он был добрым человеком, о котором могли отзываться дурно разве только его больные, – заметил он.

– Отчего же так, ваше превосходительство? – поинтересовался я. – Неужели так плохо он вас лечил?

– Солодковым корнем, – рассмеялся барон, – других средств Франц Осипович не признавал. Да, впрочем, мы были молоды, сами выздоравливали. Это уж сейчас, под старость, без лекарей – никуда...

Я решил быть откровенным с бароном и заговорил о Пушкине, о том, что знал его много лет и до сих пор не сумел еще понять необыкновенной его натуры. О том, что не теряю надежды постичь секрет рождения его удивительных стихов. Я говорил о том, каким необыкновенным учебным заведением был Лицей, коли из его стен вышло столько людей необыкновенных... Моя неуклюжая лесть не прошла незамеченной: барон снисходительно улыбнулся. Было очевидно, что к лести он привык и хорошо умел ее распознавать. Но гнева я не вызвал! Напротив.

– Я бы мог кое-что вам порассказать... – проговорил Корф. – Но не боитесь ли вы, что созданный вами в воображении светлый образ Поэта будет разрушен? Вы ведь, как мне кажется, придумали для себя нечто вроде идеала...

– Ваше превосходительство, я был домашним врачом Пушкина и знал поэта достаточно хорошо, чтобы понять, что идеальным он не был. К тому же как врач я привык к тому, что под прекрасным обликом таятся болезни.

– Это правильный подход не только к врачеванию, но и ко многим другим сторонам жизни, – кивнул Корф. – Ну так скажу вам, что жизнь Пушкина была двойкая: жизнь поэта и жизнь человека. То есть как высок он был в своем творчестве, так низок и ничтожен в жизни. Не так давно явилось в Германии сочинение – воспоминания и заметки бывшего петербургского книгопродавца Пельца. Вы читали?

– Да, ваше превосходительство, держал в руках и бегло ознакомился... – ответил я. – Имел возможность. Это, по обыкновению большей части иностранных сочинений о России, была горькая диатриба против нас и всего нашего. По сути, пересказ сплетен.

– Да, это так, но диатриба, в которой встречались и очень живые характеристики наших литераторов, – возразил барон. – Вот там, на тумбочке, – сочинение господина Пельца. Не сообразоволи ли подать?

Я повиновался. Взяв в руки томик в коленкоровом переплете, барон принялся читать по-немецки: «Пушкин получал огромные суммы денег от Смирдина, которых последний никогда не был в возможности обратно выручить. Смирдин часто попадал в самые стесненные денежные обстоятельства, но Пушкин не шевелил и пальцем на помощь своему меценату. Деньгами он, впрочем, никогда и не мог помогать, потому что беспутная жизнь держала его во всегдашних долгах, которые платил за него государь; но и это было всегда брошенным благодеянием, потому что Пушкин оплачивал государю разве только каким-нибудь гладеньким словом благодарности и обещаниями будущих произведений, которые никогда не осуществлялись и, может статься, скорее сбылись бы, если б поэт предоставлен был самому себе и собственным силам».

Барон отложил книгу и заговорил уже от своего имени:

– Было время, когда он от Смирдина получал по червонцу за каждый стих; но эти червонцы скоро укатывались, ведь он был игрок. А стихи, под которыми не стыдно было бы выставить славное его имя, единственная вещь, которою он дорожил в мире, – писались не всегда и не скоро. При всей наружной легкости этих прелестных произведений, или именно для такой легкости, он мучился над ними по часам, и в каждом стихе, почти в каждом слове было бесчисленное множество помарок. Сверх того, Пушкин писал только в минуты вдохновения, а они заставляли ждать себя иногда по месяцам.

Тут я не возражал: поэт сам признавался мне в этом.

– Пушкин смотрел на литературу как на дойную корову, – продолжил барон, – и знал, что Смирдин, которого кормили другие, давал себя доить преимущественно ему. Но пока только терпелось, Пушкин предпочитал спокойнейший путь – делания долгов, и лишь уже при совершенной засухе принимался за работу. Государь раз за разом платил его долги, но не получал благодарности! Когда долги слишком накоплялись и государь медлил их уплатою, то в благодарность за прежние благодеяния Пушкин пускал тихомолком в публику двустихия, вроде следующего: «Хотел издать Ликурговы законы – И что же издал он? – Лишь кант на панталоны». Вот оно – мерило признательности великого гения!

– Но разве это строки Пушкина? – возразил я. – Поэт сам жаловался мне на то, что ему приписывают все вольнодумные стишки, какие только появляются.

– Эпиграмма анонимна, – кивнул Корф. – Подлинного автора не знает никто. И то правдиво, что поэту приписывали многое чужое и, по-правде говоря, бездарное.

– При мне поэт пил за здоровье государя императора Николая Павловича и открыто заявлял о своей любви к нему, – добавил я.

– Однако же дыма без огня не бывает! – возразил Корф. – Как вы справедливо заметили, пройдоха-Пельц пересказывает сплетни, а они на пустом месте не рождаются. Принимая одной рукой щедрые дары от государя, поэт другой омокал перо для язвительной эпиграммы.

Я не удержался и возразил:

– Вы только что изволили вспомнить о щедрых дарах. Действительно, благодушная рука монарха щедро отверзалась для поэта и даже для оставшейся семьи, когда самого его уже не стало. До самой смерти Пушкина император Николай называл себя его другом. Стал бы государь поступать так, коли бы поверил, что именно Александр Сергеевич автор тех дерзких шуток?

– Величие духа нашего государя и его исключительное благородство не подлежат сомнению! – изрек Корф. – К сожалению, не могу я отметить те же качества у нашего поэта...

Он снова раскрыл книгу и пролистал несколько страниц, находя нужное место.

– Вот послушайте, что дальше пишет этот немец: «Вокруг Пушкина роились многие возникающие дарования, много усердных почитателей, которым для дальнейшего хода не доставало только поощрения и опоры. Но едкому его эгоизму лучше нравилось поражать все вокруг себя эпиграммами. Он не принадлежал к числу тех, которые любят созидать. Он жаждал только единодержавия в царстве литературы, и это стремление подавляло в нем все другие».

– Какая гнусная клевета на нашего величайшего поэта! – воскликнул я. – Я знал его как раз в те годы, когда он издавал «Современник», и осведомлен о его заботе о молодых дарованиях.

– Все это, к сожалению, – важно возразил мне барон, – сущая правда, хотя в тех биографических отрывках, которые мы имеем о Пушкине и которые вышли из рук его друзей или слепых поклонников, ничего подобного не найдется, и тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был бы почтен чуть ли не врагом Отечества и отечественной славы. Все, или очень многие, знают эту жизнь; но все так привыкли смотреть на лицо Пушкина через призматический блеск его литературного величия и мы так еще к нему близки, что всяк, кто решился бы сказать дурное слово о человеке, навлечет на себя укор в неуважении или зависти к поэту.

– Что вы, помилуйте! Как вас можно упрекнуть в зависти! Вы достигли всего, о чем только может мечтать человек...

– Да, жизнь моя складывается не пустою и для Отечества полезной, – с небольшой улыбкой согласился барон. – Однако же находились обвинители! Меня называли врагом поэта, что есть ложь. Хотя мы с Пушкиным никогда не были близкими друзьями, но отношения наши были вполне товарищескими. Узнав о работе Пушкина над историей Петра I, я предоставил Пушкину свою библиографию иностранных сочинений о России. В ответ на это Пушкин ссудил меня разными старинными и весьма интересными книгами. Но возможно, вам недосуг выслушивать разглагольствования скучающего больного? – вдруг оборвал он сам себя. – Любезный Иван Тимофеевич, я и забыл, что вы человек дельный, занятой и пожаловали сюда оказать мне услугу, за которую я вам премного благодарен. Возможно, я злоупотребляю вашим временем?

Я поспешил заверить барона, что никаких планов на сегодняшний день у меня нет и что единственной заменой приятнейшего общения с его превосходительством, явится для меня борьба с клопами в номере захудалой станционной гостиницы.

– Ну коли так... – улыбнулся Модест Андреевич и начал свой рассказ. – Воспитывавшись с Пушкиным шесть лет в Лицее, я знал его короче многих, хотя связь наша никогда не переходила обыкновенную приятельскую. Лицей был в то время не университетом, не

гимназией, не начальным училищем, а какою-то безобразной смесью всего этого вместе, и, вопреки мнению Сперанского, смею думать, что он был заведением, не соответствовавшим ни своей особенной, ни вообще какой-нибудь цели. Нас – по крайней мере, в последние три года – надлежало специально готовить к будущему нашему назначению, а вместо того до самого конца для всех продолжался какой-то общий курс, полугимназический и полуниверситетский, обо всем на свете: математика с дифференциалами и интегралами, астрономия в широком размере, церковная история, даже высшее богословие – все это занимало у нас столько же, иногда и более времени, нежели правоведение и другие науки политические.

Он сделал паузу.

– Однако выучили вас изрядно, – промолвил я. – На полученное образование вы не можете пожаловаться.

– Как нас учили, видно уже отчасти из вышесказанного, – ответил барон. – Кто не хотел учиться, тот мог вполне предаваться самой изысканной лени, но кто и хотел, тому не много открывалось способов при неопытности, неспособности или равнодушии большей части преподавателей, которые столько же далеки были от исполнения устава, сколько и вообще от всякой рациональной системы преподавания. В следующие курсы, когда пообтерлись на нас, дело пошло, я думаю, складнее; но, несмотря на то наш выпуск, более всех запущенный, по результатам своим вышел едва ли не лучше всех других, по крайней мере несравненно лучше всех современных ему училищ. Одного имени Пушкина довольно, чтобы обессмертить этот выпуск, – признал Модест Андреевич, – но и кроме Пушкина мы из ограниченного числа двадцати девяти воспитанников, поставили по несколько очень достойных людей почти на все пути общественной жизни.

Я слушал его со всем вниманием.

– Как это сделалось, трудно дать ясный отчет, – продолжал Корф, – по крайней мере ни наставникам нашим, ни надзирателям не может быть приписана слава такого результата. Мы мало учились в классах, но много в чтении и в беседе, при беспрестанном трении умов, при совершенном отсечении от нас всякого внешнего разьяснения. Основательного, глубокого в наших познаниях было, конечно, немного; но поверхностно мы имели идею обо всем и очень были богаты блестящим всезнанием, которым так легко и теперь, а тогда было еще легче отыгрываться в России.

Увы, не мог я не признать его печальной правоты!

– Многому мы, разумеется, должны были доучиваться уже после Лицея, особенно у кого была собственная охота к науке, – рассказывал барон. – Я выпущен был шестым, с чином титулярного советника и с прегромким аттестатом, в котором только наполовину было правды, а наш замечательный Пушкин по успеваемости числился одним из последних.

В Лицее он решительно ничему не учился, но как и тогда уже блистал своим дивным талантом, а начальство боялось его едких эпиграмм, то на его эпикурейскую жизнь смотрели сквозь пальцы, и она отозвалась ему только при конце лицейского поприща плохой аттестацией. Между товарищами, кроме тех, которые, пописывая сами стихи, искали его одобрения и, так сказать, покровительства, он не пользовался особенной приязнью. Как в школе всякий имеет свой собрикет, то мы его прозвали Французом, и хотя это было, конечно, более вследствие особенного знания им французского языка, однако, если вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, ненависть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не заключало в себе ничего лестного. Хотя французским он владел преотлично. Говорил, что мать его предпочитала именно этот язык... Вы обмолвились, что лечили его покойную матушку Надежду Осиповну, – Корф переменял вдруг тему. – И как вам показалась сия замечательная женщина?

Я был несколько смущен: с одной стороны, на вопрос лица столь высокопоставленного, мне следовало отвечать честно и без утайки, но, с другой стороны, как врач, я должен был соблюдать некоторую скромность.

– Должен признаться, что мне она показалась весьма необычной дамой, незаурядной, – уклончиво начал я. – Без сомнения была она умна и довольно деятельна... Однако не могу назвать ее добродушной: временами угнетали ее какие-то мрачные мысли, хотя в другое же время беседовала со мной подолгу, строила планы, была весела...

Корф кивнул.

– Надежда Осиповна была женщина не глупая и не дурная, но имела, однако же, множество странностей, между которыми вспыльчивость, вечная рассеянность и особенно дурное хозяйничанье стояли на первом плане. Когда у них обедало человека два-три лишних, то всегда присылали к нам, по соседству, за приборами. Дворня их хоть и была многочисленной, но выглядела оборванной и порой пьяной, с баснословною неопрятностью; ветхие ридваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана.

Эти слова произнес он с явным пренебрежением.

– Отец Александра, Сергей Львович, всегда был тем, что покойный князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский называл «шалбером», то есть довольно приятным болтуном, немножко на манер старинной французской школы, с анекдотами и каламбурами, но в существе – человеком самым пустым, бесполезным, праздным и притом в безмолвном рабстве у своей жены. Все это перешло и на детей. Каким вы находили Александра Сергеевича?

Я задумался.

– Остроумным, не злым намеренно, но колким на язык, уязвимым, смелым... неосторожным.

– В семействе Пушкиных вряд ли знали слово «осторожность», – заметил Корф. – Благодаря своему острому языку Александр Сергеевич часто наживал себе врагов. Причем порой по ничтожному случаю... Вот, к примеру, у княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедельничные; на одном из них пристали к Пушкину, чтобы прочел свои стихи. Ну кажется, что такого?

Я не возразил, но припомнил слова Пушкина о том, как не любил он подобных просьб.

– Читать ему не хотелось, его упрашивали... – продолжил Корф. – В досаде он прочел «Чернь», помните? «Поэт по лире вдохновенной / Рукой рассеянной бряцал. / Он пел – а хладной и надменной / Кругом народ непосвященной / Ему бессмысленно внимал. / И толковала чернь тупая: / “Зачем так звучно он поет? / Напрасно ухо поражая, / К какой он цели нас ведет? / О чем бренчит? чему нас учит? / Зачем сердца волнует, мучит...”» Все вежливо поаплодировали, хоть и казались удивленным таким выбором. Вот вы можете мне объяснить, зачем он оскорбил так своих поклонников?

– А сам он это как-нибудь объяснял? – поинтересовался я.

– Сказывают, что Пушкин, кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не станут просить!» Вот вам все объяснение, – ответил барон. – И вот из-за таких, как вы правильно выразились, «выходок» и прослыл он вольнодумцем. Вот, например, дошедшее до меня его высказывание, которое уж явно не могло понравиться государю. Как-то в одно из своих посещений Английского клуба на Тверской Иван Иванович Дмитриев заметил, что ничего не может быть страннее самого названия: Московский Английский клуб. Случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия более еще странные. «Какие же?» – спросил Дмитриев. «А Императорское Человеколюбивое Общество», – отвечал поэт.

– Очень язвительно и несправедливо, – согласился я. – И более чем неосторожно. Говорю это не только из верноподданнических чувств, но как человек, не понаслышке знакомый с заботой нашего государя о сирых и беспомощных...

– Да, знаю, как врач вы вполне можете об этом судить, – с улыбкой остановил меня барон. – А со Львом Сергеевичем вам доводилось встречаться?

– Один раз, в доме его родителей, – ответил я. – Признаюсь, встреча меня расстроила, я пытался объяснить ему вред чрезмерного винопития, но он и слушать не стал.

– Брат Лев – добрый малый, – вздохнул барон, – но тоже довольно пустой, как отец, а к тому же рассеянный и взбалмошный, как мать. В детстве он воспитывался во всех возможных учебных заведениях, меняя одно на другое чуть ли не каждые две недели, чем приобрел себе тогда в Петербурге род исторической известности и, наконец, не кончив курса ни в одном, записался в какой-то армейский полк юнкером, потом перешел в статскую службу, потом опять в военную, был и на Кавказе, и помещиком, кажется – и спекулятором, а теперь не знаю где. Печальное пристрастие к винопитию сгубило его карьеру. Поговаривают, что Лев Пушкин пьет одно вино – хорошее или дурное, все равно, – пьет много, и никогда вино на него не действует. Он не знает вкуса чая, кофея, супа, потому что там есть вода... Рассказывают, что однажды ему сделалось дурно в какой-то гостиной, и дамы, тут бывшие, засуетившись возле него, стали кричать: «Воды, воды!» – и будто бы Пушкин от одного этого ненавистного слова пришел в чувство и вскочил как ни в чем не бывало.

Корф рассмеялся. Поняв, что он по примеру хозяина дома потчует меня светскими анекдотами я тоже улыбнулся. Время было уже позднее, я еще раз провел беглый осмотр, убедился, что состояние больного улучшилось, и, пожелав его превосходительству отдохнуть, удалился с обещанием, что приду на следующий день.

Я навестил барона Корфа назавтра и в третий день, когда нашел его уже почти что выздоровевшим и в хорошей компании. Навестил его князь Петр Андреевич Вяземский, с которым доводилось мне встречаться лет за пять до того. Был с ними и третий, какой-то армейский офицер, которого мне представили, но чью фамилию я, каюсь, забыл совершенно. Мне было приятно, что князь запомнил меня и теперь приветствовал как хорошего знакомого. Оказалось, что барон рассказал ему о нашей беседе, и теперь они спорили, обсуждая характер покойного Пушкина. Барон был неумолим в своей суровости.

– Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда и без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в тесном знакомстве со всеми трактирщиками...ями и девками, Пушкин представлял тип самого грязного разврата, – негодовал барон Корф. – Начав еще в Лицее, он после, в свете, предался всем возможным распутствам и проводил дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий, с первыми и самыми отъявленными тогдашними повесами. Должно удивляться, как здоровье и самый талант его выдерживали такой образ жизни, с которым, естественно, сопрягались частые любовные болезни, низводившие его не раз на край могилы.

– Никакого особенного знакомства с трактирами не было, и ничего трактирного в нем не было, а еще менее грязного разврата. Сколько мне известно, он вовсе не был предан распутствам всех родов. – возражал ему Вяземский. – Пушкин не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы. В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее поэтическое увлечение, что, впрочем, и отразилось в поэзии его.

Оказалось, что офицер тот тоже хорошо знал покойного Пушкина.

– Страсти бушевали в нем сильно, выделяя нашего Пушкина из множества людей, – сказал он. – Даже в толпе нельзя было не заметить Пушкина: по уму в глазах, по выражению лица, высказывающему какую-то решимость характера, по едва ли унимаемой природной живости, какого-то внутреннего беспокойства, по проявлению с трудом сдерживаемых страстей. И под страстями я понимаю не только любовное влечение: как-то в разговоре со мной он обмолвился, что самая сильная из его страстей – это страсть к азартной игре.

Упоминание о картах раззадорило барона.

– Иногда я заставлял его за карточным столом обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя, – подтвердил Корф. – Известно, что он вел довольно сильную игру и всего чаще продувался в пух. Жалко было смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью. Зато он бывал удивительно умен и приятен в разговоре, касавшемся всего, что может занимать образованный ум.

Увы, даже любивший поэта Вяземский вынужден был признать, что пристрастие к карточной игре составляло одну из главных бед в жизни Пушкина.

– К тому же он почти не умел распоряжаться ни временем своим, ни другою собственностью, – вновь заговорил офицер. – Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в своей постели... И мог так провести время до самого обеда. Иногда можно было подумать, что он без характера: так он слабо уступал мгновенно силе обстоятельств. Между тем ни за что он столько не уважал другого, как за характер.

– Женитьба несколько его остепенила, но была пагубна для его таланта, – высказался Корф.

Офицер с ним тут же согласился, заявив, что Пушкин под конец был не то, что прежде, что писал он с небрежением и его последние стихотворения некрасивы. Вяземский горячо возразил, утверждая, что в бумагах покойного нашлось много прекрасного.

Перебивали косточки и бедной Наталье Николаевне:

– Прелестная жена, любя славу мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире и по странному противоречию, пользуясь всеми плодами литературной известности мужа, исподтишка немножко гнушалась того, что она, светская дама *par excellence*, в замужестве за *homme de lettres*, за стихотворцем.

Князь Вяземский снова принялся возражать:

– Жена его любила мужа вовсе не для успехов своих в свете и нимало не гнушалась тем, что была женою литератора. В ней вовсе не было чванства, да и по рождению своему принадлежала она высшему аристократическому кругу.

На сторону Вяземского решился встать и я, напомнив, что хорошо знал бедную вдовицу и могу утверждать, что все грехи ее – это грехи молодости, не более.

– Наталья Николаевна не одарена природой особым умом, быть может порой она была легкомысленна, что простительно в ее возрасте, но она прекрасная мать и была верной супругой, – указал я.

Корф не унимался. Он явно пришел в сильное возбуждение, обычно несвойственное его натуре.

– Брачная жизнь привила Пушкину семейные и хозяйственные заботы, особенно же ревность, и отогнала его музу. Произведения его после свадьбы были и малочисленны, и слабее прежних. Но здесь представляются в заключение два любопытные вопроса: что вышло бы дальше из более зрелого таланта, если б он не женился, и как стал бы он воспитывать своих детей, если б прожил долее?

– Ах, ну так ты договоришься до того, что мы все должны быть благодарны тому убийце-французишке! – оборвал его Петр Андреевич.

– Помилуй! Такого я не говорил! – возмутился барон.

Понимая, что беседующие разгорячились и впоследствии могут пожалеть о том, что высказали лишнее, я поспешил уйти. Однако в передней я задержался, и до моего слуха донеслось нечто весьма интересное.

Барон говорил:

– Ведь, помнится, это тебе пришлось расхлебывать последствия его амурных приключений с крестьянками!

– Да с кем же не бывает! – отвечивал Вяземский.

– Согласен, однако не все присылают своим приятелям обрюхаченных девиц с просьбой о них позаботиться.

– Ну просьбу ту по понятным причинам я выполнить не мог... – рассмеялся Вяземский.

– Малютку-то вы в Воспитательный сдали? – поинтересовался Корф.

– Бог его прибрал, – ответствовал Вяземский. – Месяца через два... Но семейство потом долго пользовалось щедротами совратителя. Уж они-то своего не упустили.

* * *

Его превосходительство был мне благодарен за исцеление, с известной деликатностью он предложил мне некий гонорар за мои труды, от которого я категорически отказался. Барон пообещал, вернувшись в Петербург, пожертвовать известную сумму на воспитание несчастных сирот и, пользуясь разрешением хозяина дома, любезно пригласил меня отобедать. Я с радостью принял предложение, гордясь оказанной мне честью.

Так и случилось, что я оказался приглашен на званый обед, на котором, признаться, чувствовал себя не вполне уютно, ведь я не мог почитать себя человеком светским. Как профессор Медико-хирургической академии я обладал достаточным весом в обществе, но в отличие от многих присутствовавших за столом не мог похвалиться длинной чередой никчемных, но родовитых предков. Ни в Петербурге, ни в Москве не мог бы я присутствовать в столь блестящем обществе, однако здесь, в далекой провинции, в деревне, условностям не придавали столько значения, как в столице.

Кроме хозяев дома, барона Корфа, князя Вяземского и уже упомянутого офицера за столом присутствовали две дамы, одна лет сорока, весьма авантажная, и другая – постарше годами в глубоко декольтированном платье.

Благодарушный и веселый Василий Васильевич поддерживал разговор в обычной своей манере – то есть пересказывая местные анекдоты с бородой. Супруга его была скромна и молчалива, но если она заговаривала, то по делу и без глупостей. Беседа как-то сама собой вновь затронула поэта Пушкина. Оказалось, что и любезный хозяин наш знал почившего Гения.

– Пушкин гостил неподалеку. Он работал в комнате, выходящей в сад, и всегда писал в предобеденное время. Мой брат зашел к нему. Пушкин любил с ним беседовать и сказал шутливо: «Вот, Павел Васильевич, не найду рифмы к этой фразе». Ах, милая, не вспомнишь ли той фразы? – обратился он к жене.

– Нет, мон шер, не помню, – огорчилась она.

– Но братец мой очень удачно тогда подсказал, а Пушкин спросил: «Сколько же червонцев я должен заплатить вам, Павел Васильевич?» На вопрос поэта братец мой ответил: «Уж, право, не знаю, Александр Сергеевич, надо нам это хорошенько обдумать». И оба они рассмеялись!

Заулыбались и мы. Стали вспоминать Пушкина, его стихи, ухаживания его за дамами, некоторые из присутствующих могли похвалиться его элегиями в альбомах.

– Признайся, милая, – вновь повернулся к жене Василий Васильевич, – что многие твои подружки были влюблены в поэта.

Скромная дама согласилась с мужем.

– Да, многие были влюблены в его произведения, а может быть, и в него самого, – со смущением проговорила она. – Мы все переписывали стихотворения и поэмы Пушкина в свои альбомы, перечитывали их, учили наизусть... Ах, я знаю таких, которые до сих пор, чуть что, принимают декламировать его стихи со слезами на глазах. Но это и понятно, ведь Пушкин был очень красив; рот у него был очень прелестный, с тонко и красиво очерченными

губами, и чудные голубые глаза. – Она зарделась. – Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у мерлушки, немного только подлиннее.

– Ваше мнение не разделили бы многие, – ответила ей дама постарше. – Бог, даровав ему Гений единственный, не наградил его привлекательною наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевала тот ум, которой виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. – Она презрительно поджала губы. – Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его, да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного и неограниченное самолюбие. Я успела заметить, что он был умен, иногда любезен, очень ревнив и неделикатен. Говорили еще, что он дурной сын, но в семейных делах это невозможно знать; что он распутный человек, да к похвале всей молодежи, они почти все таковы.

Она нахмурила брови. Молодая женщина хотела что-то ответить, но, видимо, не найдя слов, смущенно потупила взгляд.

Мой визави, армейский офицер, высказался вместо нее:

– Однако женщинам Пушкин обычно нравился, он бывал с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своем. Когда он кокетничал с женщиной или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив.

– Но в то же время мы все боялись встречи с ним, зная, что он обладал насмешливостью и острым языком, – проговорила пожилая дама.

Василий Васильевич, улыбнувшись жене, продолжил:

– А ведь и в нашей губернии есть свои поэты! Помнишь, Варенька, – обратился он к супруге, – забавный случай с девицей Наумовой.

– Ах, ну это жестоко... – потупилась она. – Вот вам и пример злого языка поэта.

– Есть у нас одна барышня, уже в изрядных летах, которая предпочла служение музам заботам супружеского очага, возмнив себя новой Сапфо, – принялся за рассказ Василий Васильевич. – Давно она уже перешла за пределы девиц-подростков, сентиментальная и мечтательная, большую часть своего времени занимаясь писанием стихов, которые она к приезду Пушкина переписала в довольно объемистую тетрадь, озаглавленную ею «Уединенная муза Закамских берегов». Пушкин, много посещавший местное общество в Казани, познакомился также и с ней. И сия девица однажды поднесла ему для прочтения пресловутую тетрадь свою со стихами, прося его вписать что-нибудь. Пушкин бегло пролистнул рукопись и под заглавными словами Наумовой: «Уединенная муза / Закамских берегов» быстро написал: «Ищи с умом союза, / Но не пиши стихов».

Василий Васильевич сам расхохотался своему рассказу. Вторили ему и другие.

– Ужель так плохи были ее стихи? – спросил я.

– Да я и не знаю. Я в стихах не мастер разбираться, – честно признался Василий Васильевич. – К тому же Пушкин стихов ее и читать не стал, а лишь на обложку глянул.

Сорокалетняя дама, несмотря на неюный уж возраст, все еще очаровательная и одетая с необычайным вкусом, проговорила:

– Ах, как не повезло той бедняжке! Неосторожно было с ее стороны показывать Александру Сергеевичу свои неумелые творения.

– Вы ведь хорошо его знали, Анна Петровна, – повернулся к ней барон Корф. – Даже почитались за его музу.

При этих его словах среди присутствующих возникло некоторое замешательство, словно барон затронул не совсем удобную тему.

– Музой его я если и имела право считаться, то очень недолго, – с мягкой улыбкой ответила Анна Петровна. Взгляд ее затуманился от воспоминаний. – Не стоит приписывать

мне честь, коей я не заслужила. Но переписывались мы несколько лет, это правда. Я просила его устроить в печать мои переводы, но, видимо, он не счел их совершенными. С Пушкиным трудно было сблизиться, а еще труднее было добиться его одобрения.

– Вы подтверждаете мои слова, – снова заговорил барон Корф, – покойный Александр Сергеевич легко мог обидеть ни в чем не повинного человека. Ну вроде как эту глупую старую деву. Что ж, бросила она стихосложение?

– Куда там! – ответствовал Василий Васильевич. – Не бросила! И даже печатается в местном альманахе.

После этих его слов повисла пауза.

– Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении, – с убеждением произнес барон Корф. – Беседы ровной, систематической, связной у него совсем не было; были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но все это только изредка и урывками, большею же частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание, прерываемое иногда, при умном слове другого, диким смехом, чем-то вроде лошадиного ржания.

– Был он вспыльчив, легко раздражен, это правда, – согласился князь, – но со всем тем он, напротив, в обращении своем, когда самолюбие его не было задето, был особенно любезен и привлекателен, что и доказывается многочисленными приятелями его. Беседы систематической, быть может, и не было, но все прочее, сказанное о разговоре его, – несправедливо или преувеличенно. Во всяком случае, не было тривиальных общих мест: ум его вообще был здоровый и светлый.

– О, мало кто мог сравниться с ним по остроте ума! – поддакнула пожилая дама. – Не мудрено, что он привык смотреть на общество свысока. Он привык к поклонению, к тому, что все прислушивались к его речам.

– Его светлый, а вернее, острый ум никто не оспаривает, – ответил Корф. – Я говорю лишь о том, что Пушкин не был создан ни для службы, ни для света, ни даже – думаю – для истинной дружбы. У него были только две стихии: удовлетворение плотским страстям и поэзия, и в обеих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам: злые насмешки, часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над всеми связями общественными и семейными, все это было ему нипочем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели думал и чувствовал.

– Его выходки много содействовали его популярности. Однако нет сомнения, что все истории, возбуждаемые раздражительным характером Пушкина, его вспыльчивостью и гордостью, не выходили бы из ряда весьма обыкновенных, – заметил Вяземский, – если б не было вокруг него столько людей.

– Это уж точно, люди толпились вокруг него! Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры, – поддержал разговор офицер, – а это было для него источником бесчисленных неприятностей, так как он вечно был в раздражении, не находя или не умея занять настоящего места. Самолюбие его проглядывало во всем.

– Самолюбие! – воскликнул кто-то, я не успел заметить кто. – Да-да, снова это слово! Самолюбие его было без пределов: он ни в чем не хотел отставать от других... Словом и во всем обнаруживалась африканская кровь его.

Барон Корф горячо поддержал говорившего:

– Вот именно – африканская кровь! Был он вспыльчив до бешенства, с необузданными африканскими страстями, вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, избалованный от детства похвалою и льстецами, которые есть в каждом кругу.

– Ах, из-за этого он так часто имел дуэли! – печально проговорила пожилая дама. – Благодаря Бога долгое время бывали они не смертоносны. Но ах...

Она погрузилась и картинно перекрестилась. Некоторые последовали ее примеру, и за столом повисла небольшая пауза.

– Обилие дуэлей Пушкина сомнению не подлежит, – заговорил князь Вяземский. – При всем своем добросердечии именно из-за понятий о чести он был довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству и увлечению, сколько по расчету; он, так сказать, вменял себе обязанность, поставил себе на правило помнить зло и не спускать должникам своим. Кто был в долгу у него или кого почитал он, что в долгу, тот рано или поздно расплачивался волею или неволею.

Его поддержал офицер:

– Соглашусь в вами касательно понятий о чести. Пушкин хотел быть прежде всего светским человеком, принадлежащим к высоко аристократическому кругу. Он ошибался, полагая, будто в светском обществе принимали его как законного сочлена; напротив, там глядели на него, как на приятного гостя из другой сферы жизни, как на артиста, своего рода... – он задумался, припоминая фамилии, – Листа или Серве.

– Думаю, здесь вы преувеличиваете, – ответил Петр Андреевич Вяземский. – Пушкин был светским человеком, но и то правда, что общество, особенно где он бывал редко, почти всегда приводило его в замешательство, и от того оставался он молчалив и как бы недоволен чем-нибудь. Он не мог оставаться там долго. Прямодушие, также отличительная черта характера его, подстрекало к свободному выражению мысли, а робость противодействовала.

– Ах, ну где же вы там заметили робость! – возразил Корф.

– Пушкин говорил очень хорошо, – подтвердил офицер. – Робости я в нем не замечал. Пылкий проницательный ум обнимал быстро предметы; но эти же самые качества причиной, что его суждения о вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнавал он чрезвычайно быстро: женщин же он знал, как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими большое влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретал благосклонность одного.

– Не стоит представлять покойного Александра Сергеевича как фальшивого лове-ласа, – вступилась за память поэта Анна Петровна. – Любил и увлекался он всегда искренне, хоть и ненадолго. Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописуемо хорош, когда что-либо приятно волновало его. Когда он решался быть любезным, то ничего не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. Сам добрый, верный в дружбе, независимый, бескорыстный, живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах: его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное чувство, им внушенное. Пушкин скорее очаровывался блеском, чем достоинством и простотой в характере женщин. Это, естественно, привело к его невысокому о женщинах мнению, впрочем, совершенно в духе нашего времени. – Она улыбнулась, как бы намекая на то, что говорит не вполне серьезно.

– Ах, Анна Петровна, – возразила ей пожилая дама, – вы сами себе противоречите. Начали с того, что Александр Сергеевич любил искренне, а закончили тем, что почитал он нас, женщин, за глупышек и кокеток.

– Возможно, тут и есть противоречие, но не в моих словах, а в самом покойном Александре Сергеевиче, – ответила ей Анна Петровна. – Пушкин любил любовь... Предметы страсти менялись в пылкой душе его, но сама страсть не оставляла. Пушкин предавался любви со всею ее задумчивостью, со всею ее унынием.

– Поэтический идеал? – вступила в разговор хозяйка дома.

– Опять парадокс, Анна Петровна! – усмехнулась пожилая дама с глубоким декольте. Анна Петровна молча склонила голову, как бы соглашаясь с обеими.

Я смотрел на эту женщину и вспоминал свои беседы с Пушкиным, его высказывания, звучавшие то мудро, то странно, перемены в его настроении, его чувства зачастую для меня непонятные и думал о тщете попыток понять душу ушедшего от нас великого поэта. Сидевшие рядом со мной люди, позабыли правило «*De mortuis aut bene, aut nihil*»³. Но вместе с тем нехорошо было бы льстить покойнику, тем более человеку, столь откровенному в своих суждениях и не любившему притворство, – а именно таким был Пушкин.

Тогда, за обедом, окруженный людьми светскими и родовитыми, я предпочел помалкивать, но наедине с собой, я могу предаться воспоминаниям и описать свои встречи с гениальным поэтом, сложным, непонятным, но таким привлекательным человеком – Александром Пушкиным. Я постараюсь не кривить душой, не приукрашивать того, что было и, тем более, не выставять себя близким другом покойного. Простите неумелое перо мое за все досадные погрешности стиля, ибо я не обладаю и десятой долей таланта того, о ком пишу.

³ О мертвых ничего, кроме хорошего

Глава 2

Кто из нас, бедных путешествующих по размытым, не чиненным российским дорогам, не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранился?

Кто, поддавшись бессильному гневу, не требовал от них злосчастной книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу? Кто не почитал их лентяями, пройдохами, а то и хуже – самыми настоящими разбойниками, извергами человеческого рода? Ох, знакомо и мне это дурное гневливое чувство, за которое заставил бы меня каяться и бить земные поклоны мой покойный батюшка, бывший священником в ***ской губернии. Однако именно российской распутице обязан я дивной встрече, сильно изменившей мою жизнь.

Встреча эта состоялась по чистой случайности. Мне пришлось выехать на волжские берега по делам, связанным с одним невеликим наследством. Уладив все обстоятельства, я возвращался в столицу, но из-за сильнейшего ливня застрял в пути и нашел приют на станции. Дождь барабанил в окно, нагоняя тоску. Смотритель спал в задней комнате, накрывшись тулупом, не обращая на меня никакого внимания. Из книг был со мной лишь труд Максимо-вича-Амбодика⁴, известный мне чуть ли не наизусть, а потому со скуки я занялся рассмотрением картинок, украшавших стены этой скромной обители. Большая часть их не представляла никакого интереса: похороны кота, прелестница, рыдающая над чьей-то могилой... Часть картинок изображала историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, вручая ему мешок с деньгами. В другой молодой человек, предавшись разврату, сидит за столом, окруженный собутыльниками и бесстыдными женщинами. Далее, вконец промотавшийся и печальный юноша, одетый в жалкое рубище, пасет свиней. Наконец представлено возвращение его к отцу, ничуть не изменившемуся за время его отсутствия.

Картинки эти я рассмотрел подробнейшим образом, прочел немецкие надписи под ними, выглянул в окно на тесный ряд однообразных изб, прислоненных одна к другой; понюхал кустик бальзамина на подоконнике, убедившись, что запаха он лишен вовсе, и теперь скучал и молил Бога привести ко мне интересного собеседника, чтобы скоротать долгий вечер.

Молитва моя была услышана! Небо ниспослало мне счастье, о котором я даже и мечтать не мог. Снаружи послушался шум. Сквозь забитое водой стекло я увидел, как кто-то торопливо выпрыгнул из тарантаса, вбежал на небольшое крыльцо и закричал:

– Лошадей!..

Но, как и ожидалось, никто ему не ответил. Вновь прибывший вошел, я слышал, как он открывает двери и заглядывает в комнаты, бормоча:

– Где же смотритель? Господин смотритель!..

Выглянула заспанная фигурка станционного смотрителя – заспанного лысого старичка в ситцевой рубашке, с пестрыми подтяжками на брюках...

– Чего изволите беспокоиться? Лошадей нет, и вам придется обождать часов пять. Вон, вы не одни такие. – Он указал на меня.

– Как нет лошадей? Давайте лошадей! Я не могу ждать. Мне время дорого! – возмутился приезжий.

Старичок хладнокровно прошамкал:

– Я вам доложил, что лошадей нет! Ну и нет. Пожалуйста вашу подорожную.

⁴ Нестор Максимович Максимович-Амбодик – выдающийся российский медик, акушер, педиатр, ботаник, фитотерапевт втор. пол. XVIII – нач. XIX вв.

Приезжий серьезно рассердился. Он нервно шарил в своих карманах, вынимал из них бумаги и обратно клал их. Наконец он подал что-то старичку и спросил:

– Вы же кто будете? Где смотритель? Старичок, развертывая медленно бумагу, с важностью ответил:

– Я сам и есть смотритель. – Он принял подорожную, внимательно в нее вчитываясь. Далее почему-то внимание его обратилось на фамилию проезжавшего.

– Гм!.. Господин Пушкин!.. А позвольте вас спросить, вам не родственник будет именитый наш помещик, живущий за Камой, в Спасском уезде, его превосходительство господин Мусин-Пушкин?

Приезжий, просматривавший рассеянно почтовые правила, висевшие на стене, быстро повернулся на каблуке к смотрителю и внушительно продекламировал:

– Я Пушкин, но не Мусин!
В стихах весьма искусен
И крайне неводержан,
Когда в пути задержан!
Давайте лошадей...

Он топнул ногой, словно балованное дитя, требующее у родителей конфету. Увы, этот блистательный экспромт не произвел никакого впечатления на зевающего старичка, который продолжал упрямо твердить, что лошадей нету.

Так мне открылось, с кем свела меня судьба. Я поднялся со своего места и первым делом представился, не преминув выразить свое восхищение талантом русского поэта. На лице Пушкина отразились смешанные чувства. Я не мог не заметить, что мои похвалы ему приятны, но в то же время его подвижное лицо выражало настороженность.

– Вы окажете мне большую честь, если согласитесь со мной отужинать, – предложил я, – в багаже моем есть бутылка хорошего рома, и если вы не против...

Пушкин не отвечал и внимательно меня разглядывал.

– А ответьте-ка мне, любезнейший Иван Тимофеевич. – вдруг спросил он, – пишете ли вы стихи?

Я опешил.

– Милостивый государь мой, с чего бы это? Не пишу и в жизни не писал!

– А ваша дочь? Племянница? Брат? Сын или какой другой близкий родственник или друг? – Он испытующе смотрел на меня.

– Помилуйте!!! С чего бы это?? – изумился я. – Я доктор, людей лечу...

Пушкин разразился громким смехом, немного напоминавшим лошадиное ржание.

– Ах, как это замечательно! Значит, вы не станете морить меня своими виршами и просить о протекции?

– Ни в коем случае не собирался, – улыбнулся я, поняв причину его веселья. – В моем приглашении если и есть корысть, то лишь такая, что я дорожу беседой с вами.

Пушкин снова расхохотался, что меня немало смутило.

– Что же такого в моих словах смешного вы находите, милостивый государь? – поинтересовался я, слегка обиженный.

– Ах, простите меня! – тут же извинился Пушкин. – Не обижайтесь. Просто слова ваши о корысти напомнили мне один анекдот из моего собственного прошлого, когда моему авторскому самолюбию пришлось выдержать сильный удар. Я с радостью с вами откушаю, а заодно и расскажу эту забавную историю. Коли нам предстоит томительные часы ожидания, то лучше провести их с удовольствием. Ром, говорите? Весьма кстати: проливной дождь вымочил меня до последней нитки.

Он оглянулся вокруг, посмотрев на висящие под потолком связки высушенных яблок.
– Эх, нет тут наверняка ничего, а то бы сварили мы с вами Бенкендорфа, ну а так ограничимся пуншем...

– Простите, не понял? – опешил я. – При чем здесь господин Бенкендорф?

Пушкин вновь расхохотался.

– Жженку, – пояснил он, – жженку сварили бы! А жженка подобно шефу жандармов имеет полицейское, умиротворяющее и приводящее все в порядок влияние на желудок.

Две вещи поразили меня в этой его выходке – остроумие и неосторожность. Знал он меня немного, а о моих взглядах и вовсе представления не имел. И вот так вот осмеивать Бенкендорфа! А если донесу? Не мудрено, что при таком колком языке поэт слыл вольнодумцем и цензура не пропускала в печать многие из его произведений. Помнится, я что-то сказал на эту тему.

– Ох, уж эта мне цензура! – рассмеялся Пушкин. Мне показалось, что был он в веселом расположении духа. – Трусливая и чопорная дура! А что – неплохая рифма. – Он снова усмехнулся. – То ей слово «вельможа» не нравится... То слово «вольнолюбивый»...

А оно так хорошо выражает нынешнее liberal, оно прямо русское, и верно почтенный Шишков даст ему право гражданства в своем словаре вместе с шаротыком и с топталищем.

Славянофильские экзерсисы господина Шишкова были мне знакомы более или менее. Он называл топталищем тротуар, мокроступами галоши, а шаротыком – бильярд.

Обернувшись к зрителю, Пушкин, предполагая изготовить пунш, велел поставить чайник, что и было тотчас исполнено. Мы уселись за стол, а зритель неторопливо расставлял перед нами пожелтевшие кружки, тарелки с отколотыми краями, раскладывал ложки и прочее.

– Вы обещали мне анекдот, – напомнил я. – Какую-то историю.

– Ах да... Это... Верно, обещал! – улыбнулся Пушкин. – Однажды остановился я обедать на почтовой станции в какой-то деревне. И тут является барышня очень приличной наружности, – Пушкин сделал жест, словно обрисовывая в воздухе женскую фигуру с округлыми формами, – и принимается говорить мне вещи приятные и восторженные. Мол, узнав случайно о проезде великого поэта, не могла удержаться от желания познакомиться со мной. Признаюсь, лесть ее меня купила, слушал я ее с удовольствием и сам с нею любезничал. На прощание барышня подала мне вязанный ею кошелек и ласково просила принять его на память о неожиданной нашей встрече.

– Милая барышня! – заметил я. – Вполне ее понимаю.

– Ох, сейчас вы узнаете, насколько она была мила, – подмигнул мне Пушкин. – После обеда сел я опять в коляску; но не успел еще выехать из селения, как догоняет меня кучер верхом и говорит, что барышня просит заплатить ей десять рублей за купленный у нее кошелек. – Пушкин развел руками. – Вот такой был мне урок!

– Ловкая барышня вам попала! – Против воли я восхитился ловкостью проходимки. – Но как же это некрасиво с ее стороны!

– Сам виноват! – ухмыльнулся Пушкин. – Купился на смазливую мордашку да стройную ножку.

Чайник поспел. Мы сделали пунш и выпили по глоточку за здоровье бессовестной мастерицы-вязальщицы. Разговор продолжился. Признаться, я не могу похвастаться тем, что высказал тогда что-то особенно умное. Все изреченное мною сводилось к восхищению поэтическим талантом моего собеседника. Из оброненных им нескольких фраз я понял, что рифмовать, складывать слова в стихотворные строфы было для него делом столь же простым и естественным, как для нас, простых смертных, говорить прозой.

– Когда-то деловую бумагу на гербовом листе я написал стихами и ее не приняли в присутственном месте, – обмолвился Пушкин. – Молод был, очень молод. Пришлось переписывать, а писать просьбы дело очень скучное и неприятное.

Подали нам ужин – немудрящий. Входили же в него, однако, моченые яблоки, которые, как выяснилось, были излюбленным лакомством поэта. После того как мы вручили смотрителю мзду, он расщедрился и предложил нам суп из куропатки или жареную курицу. Это опять развеселило Пушкина.

– Люблю казаков за то, что они своеобразничают и не придерживаются во вкусе общепринятых правил. У нас, да и у всех, сварили бы суп из курицы, а куропатку бы зажарили, а у них наоборот! – И опять залился хохотом.

Теперь я мог внимательно рассмотреть наружность моего собеседника. Я знал, что ему должно было быть около тридцати лет, но выглядел Пушкин, пожалуй, старше. Юношеская стройность уже исчезала в его фигуре, волосы сильно поредели; в движениях, однако, сквозила ловкость и сила. Его манера движения сразу обращала на себя внимание: это была смесь обезьяны и тигра. Немного смуглое лицо его было оригинально, но некрасиво: большой открытый лоб, длинный нос, толстые губы – вообще неправильные черты. Но что у него было великолепно – это темно-серые с синеватым отливом глаза – большие, ясные. Нельзя передать выражение этих глаз: какое-то жгучее и при том ласкающее, приятное. Голова его была несоразмерно велика с туловищем; лоб его показался для меня замечательным своею величиною; смуглый цвет лица, черные волосы, широкое скуластое лицо напомнили мне, что происходит наш великий поэт от арапа, воспитанного Петром Великим. Помнится, я упомянул об этом и даже попросил рассказать историю славного арапа.

– Да, родословная матери моей любопытна, – подтвердил Пушкин. – Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из серала, где содержался он аманатом⁵, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь сам крестил маленького Ибрагима. Наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. Судя по сохранившимся бумагам, это была мягкая, трусливая, но вспыльчивая абиссинская натура, наклонная к невообразимой, необдуманной решимости.

– Историки утверждают, что Петр его любил сильно, – вставил я.

– Да, это так, – согласился Пушкин. – А после смерти Петра Великого судьба его переменялась. Меншиков нашел способ удалить арапа от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену. Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми был он связан. Судьба Долгоруких известна.

Конечно, я знал судьбу этого несчастного семейства, пытавшегося женить взойшедшего на трон малолетнего внука великого Петра на одной из своих девиц и жестоко поплатившегося за свою дерзость – тюрьмой, пытками, ссылкой, плахой...

– Миних спас Ганнибала, – продолжил Пушкин, – отправя его тайно в ревельскую деревню, где и жил он около десяти лет в поминутном беспокойстве: до самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика. Когда императрица Елисавета взойшла на престол, тогда Ганнибал написал ей евангельские слова: «Помяни мя, егда приидеши во царствие свое». Елисавета тотчас призвала его ко двору. – Он вдруг оборвал свой рассказ: – Но может вы расскажете о себе, Иван Тимофеевич? Так честнее будет: обо мне ходит много слухов и толков, и далеко не все они благовидные... А о вас я ничего и не знаю!

⁵ Заложником.

Скрывать мне было нечего. С предельной откровенностью я поведал Александру Сергеевичу свою нехитрую биографию. Что отец мой был священником и учился я поначалу в семинарии, а затем уж в Петербургской медико-хирургической академии. Похвастался я и тем, что окончил курс с золотой медалью и удостоился внесения своего имени на мраморную доску академии. Рассказал о службе своей в Морском госпитале, об учебе за границей за казенный счет, о том, что несколько лет назад занял кафедру и произведен в звание ординарного профессора зоологии и минералогии.

Пушкин слушал внимательно, не сводя с меня взгляда своих больших выразительных глаз. Странно смотрелись эти очень русские голубые глаза на его смуглом восточном лице.

Потом он стал задавать вопросы, особенно о заграничной моей учебе, на которые я отвечал честно и без утайки. Под конец Пушкин улыбнулся и поднял кружку с пуншем.

– Вижу человек вы неглупый и образованный. Думаю, вы поймете мою осторожность. Видите ли, давно уже положил я себе за правило при встрече с незнакомыми людьми думать о них все самое плохое, что только можно вообразить. Нет, это ни в коем случае не про вас! Но ошибался я не слишком часто.

Я тоже взял свой стакан и склонил голову, соглашаясь.

– Знание человеческой природы не разрешает мне возразить вам. Часто под розой прячется червь...

– Под червем вы понимаете недуг или порок? – спросил Пушкин.

– Видите ли, Александр Сергеевич, помимо того что я врачую недуги телесные, приходится мне очень часто сталкиваться и с тем, что принято называть душевными заболеваниями. Подчас эти душевные уродства низводят людей ранее совершенно здоровых до состояния плачевного. Гибнут ум, талант, деятельность... С подобными плачевными примерами сталкиваюсь я почти что каждый день. В вас же свет истинного дарования просиял ярчайшим образом. И простите мне мою навязчивость, но беседа с вами замечательна для меня. Она является неким противоядием моей ежедневной рутине.

Пушкин вдруг погрузился.

– Ваши слова о рутине меня огорчают. Я ведь часто даже завидовал вашему брату – ученым. Думал, светская жизнь пуста, глупа...

– Пустой мою жизнь не назовешь, это правда, – согласился я. – Но нам, медикам, частенько приходится сталкиваться с отвратительными явлениями нашей жизни. Я избрал благую часть – преподавание, студенты порой меня радуют. Но многим моим коллегам не позавидуешь. Да взять хоть моих коллег из Воспитательного...

Услышав про Воспитательный дом, Пушкин вдруг усмехнулся и признался, что однажды сам чуть не сдал туда, как он выразился, вы***ка.

– Да, стыдно, стыдно! Дурной я человек, – сказал он. – Увы, не гожусь в герои романтического произведения. Так что, боюсь я, дорогой мой друг, что не найдете во мне вы желанного противоядия.

– Ах, Александр Сергеевич! Не принимаете ли вы меня за невинную барышню? – возразил я. – Уж поверьте, изнанка жизни известна мне, пожалуй, более, чем другим. И я вовсе не представлял вас таким святым или ангелом.

– Да, боюсь, что вы почитаете нас, стихотворцев, какими-то особенными людьми. Да только это не так, и жизнь моя вполне обыкновенна: просыпаюсь я поздно, потом разбираю книги, бумаги, привожу в порядок мой туалетный столик, одеваюсь небрежно, если еду в гости, со всевозможной старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы; если ж Вальтер Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса, то требую бутылки шампанского во льду, смотрю, как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуясь, что обед стоит мне семнадцать рублей и что могу позволять себе эту шалость.

– Ну а днем? – спросил я.

– А что днем... – пожал плечами Пушкин. – Тоже ничего. Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему – он очень рад; нет – так он извиняет мне: «Повеса мой молод, ему не до меня».

Вечером я еду в театр, отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор, черные глаза; между нами начинается сношение – я занят до самого разъезда. Вечер провожу или в шумном обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и все и где никто меня не замечает, или в любезном избранном кругу, где говорю я про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно; засыпаю, читая хорошую книгу. Вот и все!

Я вынужден был признать, что описанный день и впрямь скучный и вполне обыкновенный.

– Наверное, мои дни сильно отличаются от ваших, – предположил Пушкин.

Я подтвердил, что сильно, и по его просьбе стал описывать свои занятия: обход больных, лекции, библиотеку, статьи...

– А выходит, мы с вами собратья! – обрадовался Пушкин. – Оба пишем. Только вы пишете дельное, а я пустое...

Я принялся возражать, уверяя поэта, что его стихи и поэмы приносят радость таким скучным книжным червям, как я. Потом мы выпили за мои статьи и его поэмы.

– Хороший у вас ром, – похвалил Пушкин. – Давеча угощал меня один князь вином – препакостнейшим. И все выспрашивал, как мне оно кажется. Из вежливости, запинаясь, я похвалил эту кислятину, а он, приняв за чистую монету, обрадовался. Принялся хвалить свои погреба! «А поверите ли, что тому шесть месяцев нельзя было и в рот его брать?» – спрашивает.

– И что же вы?

– Тут же с ним согласился. Поверил сразу! – воскликнул Пушкин.

Анекдот меня посмешил. Но я желал не только насладиться остроумием великого поэта, но и услышать хоть что-то о том, как рождаются те прекрасные творения, коими он услаждает наш слух.

– Слышал я, что врачи, дабы приобрести знания об устройстве человеческого тела, – ответил Пушкин, – вскрывают тела умерших. Видать, вы и меня хотите вот так же вскрыть – заживо!

Я понял, что мы вышли на весьма скользкую почву, и от того, что я сейчас скажу, зависит, продолжится ли наш разговор, или же мой собеседник сейчас вновь примется уговаривать зрителя выдать ему лошадей, несмотря на непогоду.

– Помилуйте! Я лишь пытаюсь найти приятный для вас предмет для беседы, – возразил я. – Я мог бы, конечно, заговорить с вами... ну хоть о люэсе, или о лечении гонореи индийским перчиком кубеба, но вряд ли вам будет интересен предмет...

Пушкин опять рассмеялся.

– Это словечко мне знакомо! Почему же вы решили, что беседа об этой болезни и замечательной сей пряности будет для меня безразлична? Сейчас я остепенился, а в бытность мою молодым отдал дань Венере сполна и выслушал бы вас со всем вниманием. Да еще совета бы спросил! Любви нас не природа учит, а первый пакостный роман, – с ухмылкой произнес поэт. – Приходится признать сию неприятную истину.

– Наверное, в этом отношении у поэзии преимущество... – вставил я.

Он на секунду задумался.

– Несомненно, вы правы! В отличие от романов поэзия представляет нам великое множество образчиков любви: беззаботное и веселое наслаждение жизнью со всеми ее чувственными радостями; грустное уныние, в котором скрыта своя особая сладость; наконец, мучительную и жестокую страсть, неотвратимую, как веление рока...

– И вы так свежо воспели это чувство! – подхватил я. – Эти ваши строки о гении чистой красоты...

– Ах нет! – остановил меня Пушкин. – Чужого мне не надо! Эта строка не моя, хоть я и посвятил ее одной блуднице вавилонской, которую с божьей милостью у*б.

Я опешил и совершенно потерялся. Подобные словечки доводилось мне слышать от своих студентов, но за то я их беспощадно гонял. Пушкин же, не обращая никакого внимания на мое изумление продолжил:

– «Гений чистой красоты» – не моя строка, автор ее – хороший мой знакомец Жуковский Василий Андреевич: «Ах! не с нами обитает / Гений чистой красоты; / Лишь порой он навещает / Нас с небесной высоты...» Но он не обиделся на мое заимствование!

Пушкин широко улыбнулся, показав два ряда безупречных белых зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. Он поднял руку к лицу, и я мог рассмотреть, что ногти он носил необыкновенно длинные, заостренные, из-за чего изящная кисть его напоминала лапу сказочного чудовища с когтями.

– Вы часто влюблялись? – вдруг спросил он меня. – Интересно, властна ли Венера над нашей профессурой?

– Про остальных говорить не стану, – подумав, ответил я. – Но папинька мой воспитывал нас, своих детей, в строгости и сумел привить нам моральные правила, немало помогавшие мне потом, во время учебы.

– Но вы любили? Или нет? – продолжал допытываться Пушкин.

– Думал, что любил, – согласился я. – И я давно уже счастливо женат. Но страсти и любовного безумия в моем романе не было. Мое чувство было совсем иным, нежели то, что описано в ваших стихах. Читая ваши строки, я сомневаюсь, начинаю предполагать, что от меня было сокрыто нечто особенное...

– Ах, это счастье, наверное, родиться с холодным рассудком и спокойной кровью! – воскликнул Пушкин.

– Но вы сами вряд ли хотели бы такого счастья, – заметил я. – Насколько я понимаю, вашим любовным увлечениям обязаны мы рождением поэтических шедевров.

– Вы льстец, сударь мой! – остановил меня Пушкин. – Не перегибайте палку, а то я заподозрю вас в неискренности. Хотите, я буду совершенно откровенен? Может быть, я изыщен и благовоспитан в моих писаниях, но сердце мое совершенно вульгарно, и склонности у меня вполне мещанские. Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, это и короче, и гораздо удобнее!

– Возможно, вы слишком к себе несправедливы, – заметил я. – Я помню слова ваши “Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон в забавы суетного света он малодушно погружен”, но ведь вас посещает вдохновение, и из-под пера вашего выходят строки, сделавшие вас гордостью России.

Пушкин кивнул.

– Я ударил о наковальню русского языка, и вышел стих – и все начали писать хорошо, – с гордостью и очень серьезно ответил он. – Под известный каданс стихов можно наделать тысячи, и все они будут хороши, но чтобы создать нечто замечательное, нужно все же вдохновение, особый полет души. Бывает, что, лишенный этого, я не пишу месяцами... Это такая тоска!

Мы выпили еще.

– Но что же является источником этого вдохновения? – не унимался я. – Влюбленность?

– Наверное... Часто, да! – задумался Пушкин. – Меня Амур ранил не раз! Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых знал. Все они изрядно надо мной посмеялись; все, за одним-единственным исключением, кокетничали со мной.

– И всем им вы посвящали стихи? – спросил я.

– Не всем, но многим! Замечу, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. В этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщин уважать вас... Однако забава эта достойна старой обезьяны осмнадцатого столетия. Иное дело та женщина, которую полюбишь всем сердцем...

Я молчал, надеясь услышать что-то еще. Ожидания мои не обманулись.

– Как скоро мне понравится женщина, то уходя или уезжая от нее, я долго продолжаю быть мысленно с нею, – продолжил Пушкин, – и в воображении увожу ее с собою, сажаю ее в экипаж, предупреждаю, что в таком-то месте будут толчки, одеваю ей плечи, целую ей руки... – Прекрасные голубые глаза Пушкина затуманились. – Впервые я испытал любовь еще совсем ребенком. Помню тенистый Юсупов сад... Аллеи... По четвергам меня возили на знаменитые детские балы танцмейстера Иогеля. Было мне лет шесть... может, девять. Позже в стихах я припомнил этот полузабытый эпизод: «Подруга возраста златова, / Подруга красных детских лет, / Тебя ли вижу, – взоров свет, / Друг сердца, милая...» – Он замолчал.

– Кто? – не удержался я.

– Не важно! – оборвал он. – Ведь мы были дети.

Я испугался, что своим неосторожным замечанием разрушил его откровенность и ничего более не услышу, потому я осторожными фразами навел Пушкина на тему Лицея, где вот уже много лет служил мой хороший знакомый Франц Осипович Пешель.

– Ах, как его не помнить! – рассмеялся поэт. – Этот добрый человек лечил нас нехитрыми настойками, не причинявшими вреда. Не уморил – и на том спасибо!

Эти воспоминания были поэту приятны. Он вспомнил 19 октября, день, назначенный для открытия Лицея, торжество, начавшееся молитвой, обедню и молебн с водосвятием.

– Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все заведение. После император поблагодарил всех, начиная с министра, и пригласил императриц осмотреть новое его заведение. За царской фамилией двинулась и публика. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно с нетерпением ожидали. Осмотрев заведение, гости Лицея возвратились к нам в столовую и застали нас усердно трудящимися над супом с пирожками. Царь беседовал с министром. Императрица Марья Федоровна попробовала кушанье. Подошла к одному из нас, оперлась сзади на его плечи, чтоб он не приподнимался, и спросила его: «Карошсуп?» Он медвежонком отвечал: «Oui, monsieur!» Сконфузился ли он и не знал, кто его спрашивал, или дурной русский выговор, которым сделан был ему вопрос, – только все это вместе почему-то побудило его откликнуться на французском языке и в мужеском роде. Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше любезных вопросов, а бедняга попал на зубок; долго преследовала его кличка: monsieur.

Я послушно рассмеялся. Рассказ и в самом деле был забавен.

– Вечером нас угощали десертом вместо казенного ужина. Кругом Лицея поставлены были площадки с иллюминацией, а на балконе горел щит с вензелем императора. Сбросив парадную одежду, мы играли перед Лицеем в снежки при свете этих огней и тем заключили свой праздник, не подозревая тогда в себе будущих столпов Отечества, как величал нас директор в своей речи. Как нарочно для нас, тот год рано стала зима, снега было вдоволь.

– В строгости вас держали? – поинтересовался я.

– Не могу этого сказать, – честно ответил Пушкин. – Нам довольно часто устраивали праздники. Война двенадцатого года подпортила нам веселье: Лицей чуть было не эвакуировали, когда французы были в Москве... Да вовремя пришла депеша, что Наполеон отступает.

– Волнующее было время! – проговорил я. – Но какое славное!

– Да, я помню, как полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri – Quatre, тирольские вальсы и арии из

Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество»! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута! – Глаза Пушкина пылали восторгом. – Женщины, русские женщины, были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: ура! «И в воздух чепчики бросали».

– Вы были влюблены в Лицее? – спросил я.

Пушкин ухмыльнулся. Выражение лица его ясно показало, что готовится рассказать он мне нечто скабрешное.

– В старших классах Лицея, когда надзор ослабел, мы почти беспрепятственно получали разрешения отлучаться в город, где водили компанию с царскосельскими гусарами и посещали театр графа Толстого. Театр тот был хоть и невелик, но роскошен. Места были построены амфитеатром, полукругом... Занавес тяжелый, шитый золотной вязью. Капельдинеры из графских крестьян в ливрейных фраках с разноцветными воротниками. За кулисами я имел возможность познакомиться с доморощенными Венерами, Лаисами, Делиями, Хлоями и прочими носительницами мифологических и пасторальных псевдонимов. Одной такой крепостной миловидной жрице Тальи писал я мадригал: «Видел прелести Натальи/ И уж в сердце Купидон!» Боюсь, оказал я девице плохую услугу, ее чуть не выпороли за мои стишки: была она метрессой графа и он вздумал ревновать. Но после понял, что глуп, и даже возгордился, что его рабам-актеркам поэты стансы слагают, совсем как в настоящем театре. Дикое барство!

Он взгрустнул, вспоминая.

– Вот вы говорили о любви, была у меня одна знакомая, наружность которой не составляла ничего примечательного. Отличал ее непомерно длинный нос, глаза, которые становились то хороши, то глупы, да крошечная ножка, словно у ребенка. Барышня эта почитала себя очень умной и охотно рассуждала о свободе, твердя, что свобода народа есть желание сильнейшее ее души. Была она врагом рабства и мечтала запретить однажды навсегда явную и тайную продажу людей и позволять мужикам откупаться на волю за условленную цену. Не мудрено, что при таком уме осталась она старой девой. Впрочем, глаза ее были хороши! «Потупит их с улыбкой Леля, / В них скромных граций торжество; / Поднимет – ангел Рафаэля / Так созерцает божество». Сказать правду, тогда она была влюблена в меня и бросала мне такие взгляды, что я чуть-чуть не женился.

– За чем же дело стало?

– Я заболел и более месяца пролежал в постели, но зато оставил ее свободной и от болезни, и от любви...

– Смотрю, вы не ценитель умных женщин! – заметил я.

– Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив, – со смехом ответил Пушкин. – У женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости; вот почему так легко изображать их. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы.

– Как вы неуважительно отзываетесь о женском поле, – заметил я. – Однако же на протяжении почти целого столетия Российской империей правили женщины.

– И самая великая из этих жен не была свободна от пороков своего пола, – ответил он. – Впрочем, самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг,

ни талантов для достижения второго места в государстве... Ох, загонит меня язык мой за Дунай! А может, и за Прут, – осекся он.

– Суждения ваши смелы и крайне неосторожны, – согласился я. – Но вы можете рассчитывать на мою скромность. Однако вернемся к теме безопасной. Мы говорили об учебе вашей в Лицее и о первых ваших влюбленностях.

– И уже тогда я имел неприятности! Дурная слава обо мне дошла до государя, хотя виной тому был сущий пустяк, – признался Пушкин. – Нравилась мне еще одна прелестная Наташа – горничная фрейлины Волуевой. Однажды мне попалась навстречу в темном коридоре дворца какая-то женская фигура. Уверенный, что передо мной хорошенькая горничная, я довольно бесцеремонно обнял ее и, на беду свою, слишком поздно заметил, что это сердитая старая дева княжна Волконская. Она пожаловалась, и сплетню эту передали государю. Но директор Лицея выпросил мне прощение. В сущности, любовь эта была еще настоящим мальчишеством.

По его выразительному лицу прошла тень легкой печали, словно он грустил о днях ушедшей юности.

– А после?

– Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и прочему, но все это нравилось мне недолго. Я любил и доньше люблю шум и толпу. Встречался я там и со своим дедом. Помню, у него в доме за обедом подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился – и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. А пить он был горазд! Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз пять или шесть до обеда.

После этих слов мы снова выпили на сей раз за упокой души старого арапа.

– Вскоре переехали мы в Петербург, – продолжил Пушкин, – и началась безудержная жизнь: балы, театры, пирушки. На поэзию почти не оставалось времени. Жуковский и Батюшков искренне тревожились за мое будущее. Ничто не могло остановить меня: ни недостаток средств, ни благие советы друзей, ни постоянная опасность стать «жертвой вредной красоты» и живым подобием Вольтеровского Панглоса. Шампанское, актрисы и другие... гхм... крестницы Кипр иды... – с упоением вспоминал он. – То пьется, а те е***ся. А соберемся за картами, играли – мел столбом!

Деньги сыплются! Ох, эти забавы часто выходили мне боком! Не раз я неделями валялся в постели с лекарствами в желудке, с ртутием в крови, с раскаянием в рассудке...

– Ненадолго, видать хватало вашего раскаяния! – укоризненно заметил я.

– В этом вы правы, – покаянно согласился он. – Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не тяжелая болезнь, которая, остановила на время избранный мной образ жизни.

– А что была за болезнь? – деловито осведомился я.

– Ах, то и дело забываю, что передо мной лекарь! – воскликнул Пушкин. – Я вам, милостивый государь, толкую о прелестных дамах, о Хлое, о Лаисе, о жрицах наслаждения... Вы слушаете и скучаете. А стоило упомянуть о горячке – как тут же оживились! Я простудился, дожидаясь у дверей одной б..., которая не пускала меня в дождь к себе для того, чтобы не заразить своею болезнью. Избегнув одного, я приобрел другое – не лучшее. Гнилая горячка долго держала меня на грани жизни и смерти. Лейтон за меня не ручался. Родители мои были в отчаянии.

– Вы упомянули Лейтона? – заинтересовался я. – Яков Иванович – главный врач русского флота, лейб-медик монаршего двора, академик – врач сильный. И коли даже он не ручался за ваше выздоровление, значит дело было серьезно...

– Но он все же меня вытащил! – перебил меня Пушкин. – Лейтон тогда применил только начинавший входить в практику жаропонижающий метод – ванны со льдом – метод

хоть и действенный, но очень опасный. Поправлялся я медленно и почти всю зиму не выходил из дому. Знаете, чувство выздоровления – одно из самых сладостных. Я писал тогда «Руслана и Людмилу», много читал, носил полосатый бухарский халат, а на обритой голове – ермолку. Не усидев дома, я явился в театр, прикрыв бритую голову париком. Но в нем было безбожно жарко, и, не стерпев, я принялся обмахиваться им, словно веером. Общество было скандализировано! – он принялся заразительно смеяться.

Я вторил ему, представив эту забавную сцену.

– Вскоре я стал почетным гражданином кулис, – с некоторой гордостью произнес Пушкин. – Пред началом оперы, трагедии, балета гулял по всем десяти рядам кресел, ходил по всем ногам, разговаривал со всеми знакомыми и незнакомыми. «Откуда ты?» – «От Семеновой, от Сосницкой, от Колесовой, от Истоминой». – «Как ты счастлив!» – «Сегодня она поет – она играет, она танцует – похлопаем ей – вызовем ее! она так мила! у ней такие глаза! такая ножка! такой талант!..» И вот, сговорившись, мы восхищались и хлопали часто тому, что восхищения и не заслуживало. Порой певец или певица, заслужившие любовь нашу, фальшиво дотягивали арию Боэльде или della Maria. Знатоки примечали, любители чувствовали, но молчали из уважения к таланту. Не хочу здесь обвинять пылкую, ветреную молодость, знаю, что она требует снисходительности. Но можно ли полагаться на мнения таковых судей? Тогда на сцене еще блистала стареющая Семенова. На меня она действовала не столько своей величавой красотой, сколько обаянием таланта. Некоторое время я безуспешно приволакивался за нею, то есть почитал себя влюбленным без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии, а ей посвятил критические заметки о русском театре. Писались ли они по вдохновению, природу которого вы пытаетесь разведать? Не знаю. Впрочем, записки эти я не закончил, бросил, подарив рукопись Екатерине Семеновне. Там были о ней восторженные строки, но единодержавная царица трагической сцены не соблазнилась, благоразумно предпочтя мне князя Гагарина. Ухаживая за нею, я снова схватил злую горячку, и снова любящие меня люди опасались за мою жизнь. Ох, только не заставляйте меня вспоминать подробности этой болезни! Вижу, вижу непритворный интерес в ваших глазах! Но, помилуйте, болезни – это очень скучно. Довольно с вас того, что я ускользнул от Эскулапа, худой, обритый – но живой...

– Вы, Александр Сергеевич, явно не из тех, кто любит жаловаться на свои недуги, – заметил я, – а других хлебом не корми, дай порассказать, как жестоко их мучило несварение желудка.

– Но это уж совсем неаппетитная тема! – рассмеялся он. – Но не наскучил ли я вам?

Я горячо заверил Александра Сергеевича, что беседа наша для меня крайне интересна.

– Вот я пересказываю вам все эти сплетни, а вы потом станете развлекать ими своих друзей? – вдруг спросил он.

– Помилуйте! Как можно! – искренне оскорбился я. – Александр Сергеевич, как медику мне известно о людях столько, что, не умея я держать язык за зубами, мог бы не одну карьеру порушить. Да только лекарская карьера испокон веку держалась на молчании и скромности. Мы тайну исповеди блюдем почище, чем попы.

– Рад это слышать, – улыбнулся Пушкин. – Я мог бы рассказать вам еще и о прелестной Дориде... Но нет, – он вдруг помрачнел, – это еще не зажило. Словом, я весело жил в столице около двух лет, но потом все кончилось и мною овладела хандра или, если хотите – меланхолия. «И ты, моя задумчивая лира, / Найдешь ли вновь утраченные звуки», – процитировал он. – Писать я не мог и разучился влюбляться... А тут как раз меня первый раз и сослали.

Я, немного наслышанный об этом неприятном времени из биографии поэта, сочувственно кивнул.

– Я был выпровожен из столицы и направлен якобы для несения службы на юг, под начальство генерала Инзова, – продолжил Пушкин. – Надо признаться, я выехал из Петер-

бурга смертельно утомленный разгульной жизнью. Дней десять спустя добрался я до Екатеринослава, где находилась в это время инзовская канцелярия.

Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Оказалось, что к тому времени мои стихи знали уже и в Екатеринославе! Ох, обидел я своих поклонников... Это были молодой профессор Екатеринославской духовной семинарии и какой-то местный помещик. Нашли они лачужку, мною занимаемую, и обнаружили меня в халате, в раздраженном состоянии, с булкой с икрой в руках и со стаканом красного вина. «Что вам угодно?»— спросил я вошедших. И когда последние сказали, что желали иметь честь видеть славного писателя, то скверный славный писатель отчеканил следующую фразу: «Ну, теперь видели?.. До свиданья!..»

— Ах, и что же? — спросил я. — Так они и ушли?

— Ушли... — развел руками Пушкин. — Несолоно хлебамши. Нехорошо вышло... Но я был болен тогда! Днем позже в той же убогой хате нашел меня и генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, — в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам; лекарь, коллега ваш, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить; Инзов благословил меня в счастливый путь — я лег в коляску больной, через неделю вылечился.

— Что же то за дивный доктор вам попался? — Мне стало не на шутку интересно.

— Фамилия его была Рудыковский, звали Евстафием Петровичем, — ответил Пушкин. — Теперь он где-то в Киеве. Вот он в отличие от вас стихи пишет!

— Евстафия Петровича я знаю хорошо, — признался я. — И что же, хороши ли его стихи?

— Неплохи, — признал Пушкин. — Много из того, что у нас печатают, похуже будет. Особенно сказки хороши.

Дождь за окном не унимался.

— Вы любите дождь? — спросил меня поэт.

— Не слишком, — признался я. — Еще с тех лет, когда мне, невзирая на погоду, приходилось спешить к больному...

— Понимаю. Я — лентяй, был избавлен от этих хлопот и дождь люблю. Только б ветер был не так уныло...

В этот час на станцию прибыл еще один путешественник. Чиновник пятого класса громко требовал лошадей и тыкал смотрителю в лицо подорожную. Он был толст, немолод, премного доволен собой и заглушал своим говором все другие шумы и звуки. Выяснив, что все же и ему придется подождать некоторое время, он без приглашения плюхнулся за наш стол на свободное место и, коротко представившись, принялся рассуждать о пользе винопития. Комната была одна, общая, да и стол единственный, а потому выгнать мы его возможности не имели. Я старательно изображал приветливость, Пушкин, не таясь, зевал.

Чиновник был из тех болтунов, что почитают себя за самых умных. Он договорился до того, что начал доказывать необходимость употребления вина как самого лучшего средства от многих болезней.

— Особенно от горячки, — заметил Пушкин.

— Да, таки и от горячки, — возразил чиновник с важностью, — вот-с извольте-ка слушать: у меня был приятель... так вот он просто нашим винцом себя от чумы вылечил, как схватил две осьмухи, так как рукой сняло.

При этом чиновник зорко взглянул на Пушкина, как бы спрашивая: ну, что вы на это скажете? У Пушкина глаза сверкнули; удерживая смех и краснея, отвечал он:

— Быть может, но только позвольте усомниться.

— Да чего тут позволять? — возразил грубо чиновник. — что я говорю, так так, а вот вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится.

— Да почему же? — спросил Пушкин с достоинством.

– Да потому же, что между нами есть разница.

– Что же это доказывает?

– Да то, сударь, что вы еще молокосос.

– А, понимаю, – смеясь, заметил Пушкин. – Точно, есть разница: я молокосос, как вы говорите, а вы виносос, как я говорю.

Надо признаться, что в тот момент обуял меня страх: чем окончится эта дерзость? Доносом или, быть может, дуэлью? Пушкина я легко мог представить со шпагой или пистолетом в руке, а вот этого толстого винососа – вряд ли. И тут в передней послышался смех: это смеялся старый смотритель. И вслед за ним я тоже рассмеялся. Чиновник побагровел и негодуяще обернулся: старик тут же спрятался за занавеской.

– Лошадей! – рявкнул на него ошалевший «виносос». – Эй ты! Коли не дашь мне сейчас лошадей!...

Последовала довольно неприятная и бурная сцена. Увы, полагавшиеся нам отдохнувшие лошади достались «винососу», путешествуя – шему по казенной надобности и со срочным предписанием. К моему удивлению, Пушкин отнесся к этому весьма спокойно.

– Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина, – объяснил он свое равнодушное отношение к этому происшествию. – Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила – чин чина почитай – ввелось в употребление другое, например: ум ума почитай? Какие возникли бы споры! И слуги с кого бы начинали кушанье подавать?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.